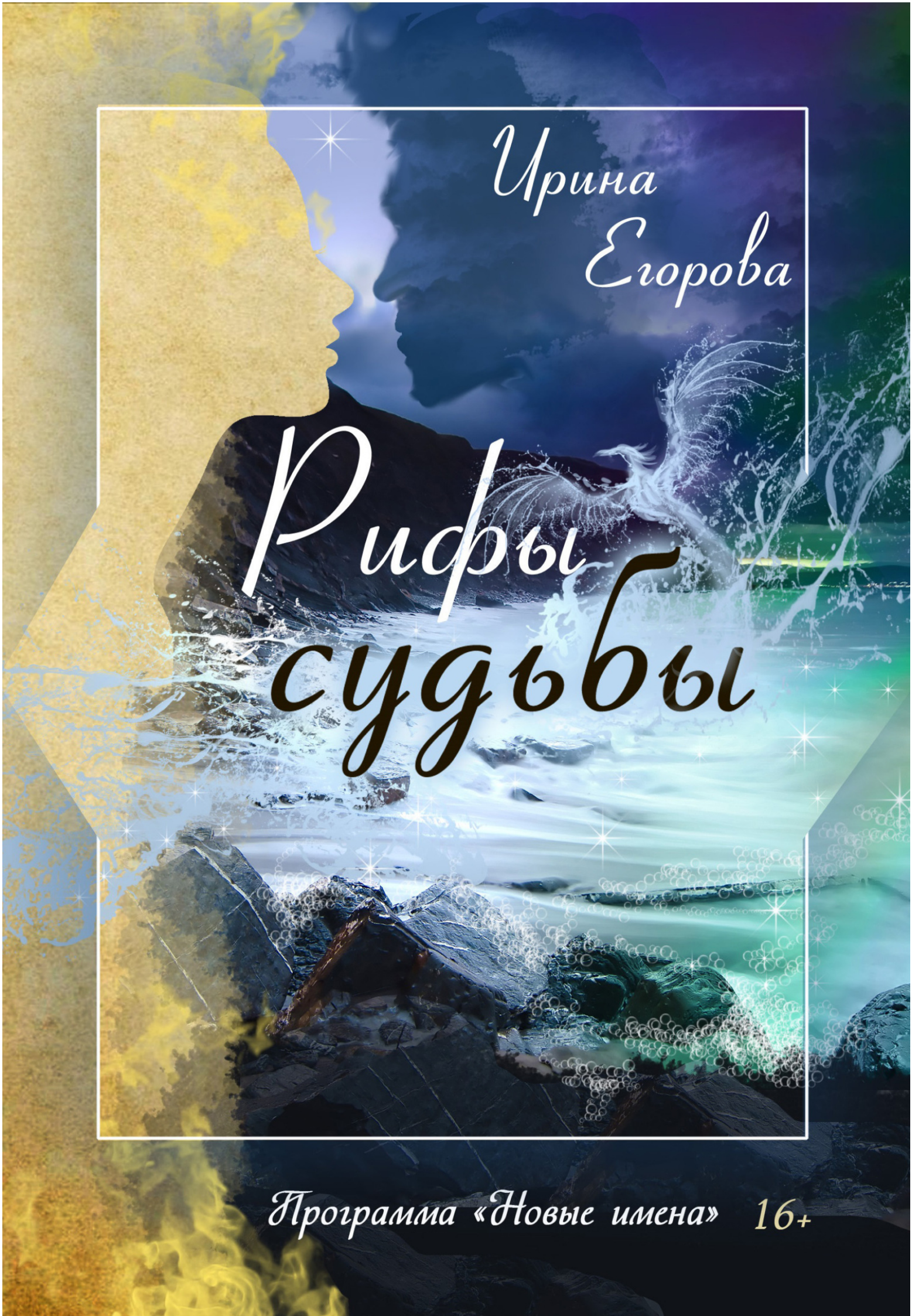
Ирина
Егорова
Рифы
судьбы
Программа «Новые имена»
16+

Ирина Егорова

Рифы судьбы

«Издательство «Союз писателей»
2018

УДК 82-32
ББК 84 (2 Рос=Рус)

Егорова И. Ю.

Рифы судьбы / И. Ю. Егорова — «Издательство «Союз писателей», 2018

ISBN 978-5-00073-806-1

Что может быть прекраснее любви? Да-да, той самой отныне и присно? Того счастья, что можно испытать лишь в объятиях любимого человека? Той мечты, что воплотится после первого поцелуя, как обещают нам детские сказки? Только где искать «синюю птицу», коли не спешит она влетать в распахнутое окно и предпочитает коротать досуг на чужих карнизах? На страницах книги «Рифы судьбы» Ирина Егорова рисует портреты трёх героинь, каждая из которых любит и страдает, находит и теряет. Сильные и слабые, эмоциональные и не очень, оптимистки и пессимистки, все они мечтают о том единственном, который спасёт их из высокой башни. Но жизнь не сказка. А значит, на пути встретится множество препятствий. Когда суровая реальность и фантазии столкнутся, чьи иллюзии развеются, как дым, а чьи уцелеют? Сколько людей, столько и представлений о счастье. Так давайте немного помечтаем…

УДК 82-32
ББК 84 (2 Рос=Рус)

ISBN 978-5-00073-806-1

© Егорова И. Ю., 2018
© «Издательство «Союз писателей», 2018

Содержание

Рифы судьбы 6
1. Дежавю 6
2. Первая влюблённость 8
3. Ленивый воздух Одессы 10
4. Зелёная 13
5. Пробежки сквозь себя 15
Конец ознакомительного фрагмента. 20

Ирина Егорова
Рифы судьбы

© Егорова И. Ю., 2018
© Издательство «Союз писателей», оформление, 2018

* * *

Рифы судьбы

1. Дежавю

Наверное, если смотреть высоко-высоко из Вечности, поток времени будет выглядеть как однородное, слегка волнистое полотно или как тело, покрытое гладкой кожей. А если приблизиться и взглянуть на него через какой-нибудь гигантский микроскоп, то ткань эта зашевелится, закопошится всевозможными сущностями и процессами. И если умудришься нырнуть в неё, то увидишь, что вокруг кипит и бурлит, кишмя кишит жизнь, толкается и манит, обещает и обманывает. Так, глядишь, зазеваешься, что и вовсе приживёшься, пустишь корни и забудешь заглядывать обратно, в Вечность…

А между нами и нашими ангелами-хранителями до нашего рождения, видимо, происходит примерно вот что:

– Но зачем? Мне и здесь хорошо.

– Пойми, это такая тренировка. Чтобы душа росла, ей нужно напряжение и… распряжение, зарядка и разрядка.

– Что же там можно делать? Ведь всё это полная нелепица…

– Да, но там оно считается логикой и… Люди называют это законами природы и изучают.

– А как же там можно что-то изучать, когда всё вокруг плотное и тяжёлое? И к тому же сам ты плотный и тяжёлый? И каждый шаг порождает всякие последствия – плотные и тяжёлые?

– Да, да, именно так, но поверь: то, что тебе предстоит – тоже своего рода форма жизни. И многие настолько привыкают к ней, что даже держатся за неё.

– За что же там держаться? Ведь это мука – быть таким неповоротливым и неподъёмным: ни полетать, ни создать свои пространства-мысли.

– Ну, полетать там, конечно, не очень-то придётся, разве что… на таких специальных приспособлениях… А создать свою мысль – это у них тоже есть. Да и пространство тоже! Правда, на это, как правило, уходит почти вся жизнь, да и пространствишко, сказать по правде, зачастую совсем малюсенькое… как его там… А! Дом называется… Так вот, они ещё очень гордятся его крепостью… и долговечностью.

– Крепостью? Долговечностью… ха-ха-ха! У них у самих-то жизнишки… – пшик! – и нету. Всё рушится. Все тела, ну, которые из материи, не успеют создаться, как тут же в них начинается распад. Чем же тут можно гордиться? А время! Надо же такое выдумать! Ведь оно же всегда только и делает, что проходит!

– Ладно, ладно… окунись сперва, освойся, а потом и накритикуешься всласть. Вот народ!

– Я вообще не понимаю, как там можно жить? Да и стоит ли?

– Стоит, стоит! Чего тебе волноваться? Ты ведь будешь просыпаться сюда каждую ночь. Без этого, конечно, трудно было бы там удержаться: слишком большие перегрузки. А тут полетаешь и расправишься как следует, разомнёшь отсиженную в теле душеньку. Так что не бойся, будем видеться часто. Да там и не просыпаясь можно иногда заглядывать сюда. У некоторых получается. Чаще всего от любви, особенно если умудряются стихи, знаешь, писать, картины, музыку. Представляешь: ты как бы там, а на самом деле – весь тут… ну, разве что тело…

– Да, вот, кстати, о теле. А может, не надо?

– Ну, вот ещё – «не надо»! Трудно будет – меня помяни, я всегда рядом. Давай-ка, давай, не упрямься. У-у-у! Оно там уж заждалось совсем, тело твоё. Так что, мой маленький, зажмурь поскорее свою бессмертную душеньку и ныряй – туда, в сон, на Землю.

– А может, как-нибудь?..

– Ныряй-ныряй, не бойся. Ты и оглянуться не успеешь, как снова пора будет сюда возвращаться. Ещё во вкус войдёшь, упрямиться начнёшь, цепляться. Знаю я вас… ох, народ!

– Но зачем?! Ой! Ты чего пихаешься? А-а-а-а… уа! уа! уа!

– О! Получилось! Ну, с Богом!

А!.. Вспомнила… у меня наверняка было совсем не так, как у них. Точно, всё было… как раз наоборот: это я убеждала, что мне надо, надо родиться во что бы то ни стало! Да! У меня была слишком высокая вероятность не родиться!

Мой папа очень настаивал, чтобы мама от меня избавилась. Тогда это было запрещено и проделывалось только тайно, на дому. Уже ушли домашние. Папа увёл погулять моего братика. Акушерка прокипятила инструменты и чуть было не принялась за дело. Но, к счастью, мама ужасно боялась боли. Её стало так трясти, что акушерка наотрез отказалась от кровавых замыслов и посоветовала меня рожать.

И я сделала это – я родилась, как утверждают очевидцы, такой радостной, такой счастливой, как будто сам факт рождения стал для меня крупнейшим выигрышем в истории человечества.

Возможно, именно этот первый опыт дал мне немалый заряд жизнерадостности. Спасибо за это моим родителям. Когда в детстве я спрашивала у мамы о чём-нибудь невозможном, а она мне объясняла, почему этого никак не может быть, я её внимательно выслушивала, а потом говорила: «Ну, да, понятно. Ну, а если…» Дальше снова следовало объяснение, ещё более исчерпывающее, на что я снова говорила: «Ну, а если… всё-таки… а если!..»

Понимаю: то, что сейчас скажу, непопулярно, и я в абсолютном меньшинстве. Но я люблю жизнь. Видимо, у меня это врождённое. И подозрение, что невозможное на самом деле очень даже может быть, не даёт мне покоя всю жизнь.

Всё, что я пишу, несомненно, плагиат. Просто я давно преклоняюсь перед Божьей драматургией. А Он всю жизнь ставит для меня такой спектакль, что невозможно удержаться, чтобы не пересказать его – хотя бы чуточку! – своими словами. Так мальчишки иногда взахлёб, самозабвенно пересказывают своим дружкам боевики: «…и тут он – ту-ду-дуду-ду, паф! Паф!.. А этот – дуфф-дуфф!.. Пах-пах-пах-пах-пах-пах-пахх!!»

Я прошу прощения у своих партнёров по этому спектаклю, но они так блистательно исполняют свои роли в руках Божественного Режиссёра, что умолчать о некоторых из них совершенно не представляется возможным. Единственное, что может оправдать мою избыточную откровенность, – это то, что я, в общем-то, никого не сужу. По крайней мере, пытаюсь. Ведь казнить или миловать – это право исключительно Создателя. И ведь прощает же Он всех нас, в конце концов, и терпит! Ох, и терпит!

Да, действительно, глупо не писать о своей жизни, когда сам Господь Бог набросал для меня такой синопсис и взял в соавторы моей биографии!

И всё же на правах соавтора буду перекраивать и компоновать свою жизнь, как заблагорассудится, потому что даже самый добросовестный летописец субъективен, а я даже и не пытаюсь быть летописцем: я только ребёнок, вкривь и вкось пересказывающий «киношку». Так что – Свободу моей субъективности! Стало быть, теперь никто (даже я), не сумеет в точности отделить правду от вымысла. Вот и нечего пытаться!

А может быть, всё это глупости, и я просто пытаюсь разобраться, какие силы участвовали, вылепливая орнаменты моей Судьбы. И ведь на самом деле, – кроме меня, это никого не касается.

Я пытаюсь увидеть подводные хребты своей биографии по самым высоким пикам – по рифам, которые возвышаются над уровнем моря моей жизни. А всем остальным читать это совершенно необязательно, так что не приглашаю.

2. Первая влюблённость

Смешно подумать, но и я была когда-то маленькой девочкой.

И с каждым днём мне всё легче удавалось взбираться на стул, а сиденье, которое было сначала на уровне носа, становилось всё ниже и ниже: по грудь, по пояс… а однажды я тянулась, тянулась, встала на цыпочки и положила подбородок на стол.

Тогда всё вокруг было очень большое: большущая комната с двумя огромными окнами и высоченным зеркалом между ними; моя кроватка у стены; подушка, такая мягкая и любимая, на которой можно было уместиться целиком, если хорошо свернуться калачиком; и сладко засыпать под стук бабушкиной швейной машинки.

А утром бабушка, собирая меня в ясли, много раз повторяла: «Скажи – р-р-р-рыба, р-р-рыба… р-р-рак, р-р-рак… р-р-рыба…» И вдруг мой язык, который только что неловко подворачивался и закручивался, звонко-звонко завибрировал: «Р-р-рыба, р-р-рыба, р-р-рак, р-рак!..»

И первая влюблённость (по крайней мере, первая, которую я помню), нагрянула ко мне годика в три или меньше. Я влюбилась в черноглазого хулиганистого Серёжку Ерёменко: «Мама, он дерётся, обижает меня, но я его всё равно люблю!»

Чтобы добраться до детского сада, нужно было выйти из нашего длинного коммунального коридора на первом этаже, пройти через большущие двери в гигантское, как мне тогда казалось, фойе парадного подъезда. Потом преодолеть пару пролётов широкой мраморной лестницы – до самого второго этажа, протиснуться в огромные тяжёлые двери детского сада и переодеться возле своего шкафчика. Почему-то не было дня, чтобы я не проделала этот немудрёный путь без опоздания. По всей вероятности, опаздывать – это была наша фамильная черта, и досталась она мне с молоком матери.

В садике мне было уютно и вольготно, меня там любили. Бывало, воспитательница ставила меня перед всей группой и говорила: «Рассказывай!» А я, помнится, сочиняла что-то прямо на ходу – то ли сказки, то ли рассказы – позабыла уже, что именно. Только помню, что я стояла и рассказывала, а все сидели и слушали.

Выгуливали нас в парке имени Шевченко. На лужайке стояла зелёная крашеная скамейка, а вокруг – деревья, кустарник. Иногда, остановившись среди беготни, можно было наблюдать за жизнью, которая происходила в пятнистом солнечном узоре.

> Солнце пригревало улыбчиво и ласково, заставляя почки лопаться и вытаращивать новорожденные зелёные листочки. Под огрызком прошлогоднего, сухого листика к расщелине коры у веточки было прикреплено что-то небольшое, овальное и плотное, совсем незаметное.
>
> Внутри гусенице было темно и тесно. Нужно вот так упереться во все стороны… и слегка напружиниться. Нет, мало. Надо попробовать разогнуться… жмёт-то как всё кругом… м-м… ещё, ещё немножко… ещё… ой, что-то треснуло… что это?.. такое яркое… ох, потягу-у-ушечка! Ну, наконец-то… упс… чуть не свалилась куда-то… надо уцепиться лапками… и жубами… жа вот эту штуковину, иж которой я выполжла… хрясть, хрясть… а она ничего… м-гу, вкушная, хрящь, хрящь… а хорошо, когда оно внутри… Где-то тут… фь-фа, ффь-фы… вот так нужно потянуть воздух этими дырочками на животе… пахнет… вкусным, сочным… во-он оно, зелёное такое. Надо к нему… так вот обнять, прижаться, обхватить лапками… да, да… а эти подтянуть, щекотно… а теперь разогнуться… и туда, а теперь опять… и опять…

Но однажды моя детсадовская идиллия была нарушена глупейшей, в сущности, случайностью. У нас появились две молоденькие воспитательницы. Во время обеда они прохаживались за нашими спинами, а потом одна остановилась около меня, запрокинула мне голову назад и сказала второй: «Смотри, какие голубые глазищи!» Где-то рядом сидел Серёжка Ерёменко, и от этого внутри было немного волнительно. Я старательно вытаращила глаза, вторая оценила. После этого воспитательница небрежно отпустила мою голову, слегка пристукнув по голове чем-то, по ощущениям деревянным. Хотя, возможно, это были просто костяшки пальцев, но мне тогда показалось, что меня тюкнули по голове чем-то вроде детского кубика.

Не могу сказать, что этот знак внимания был мне неприятен, – скорее наоборот, хотя в целом я привыкла к более нежному обращению. Вечером, когда бабушка спросила, как дела в садике, я рассказала ей о произошедшем не с целью пожаловаться, а, скорее, поделиться впечатлениями. Но бабушка Дуся была человеком, ревностно относящимся к чувству собственного достоинства, и наутро высказала воспитательницам недовольство тем, что ребёнка бьют кубиком по голове. По всей вероятности, она не стеснялась в выражениях, отстаивая права любимой внучки.

Возмущению воспитательниц не было границ. Они были обмануты в лучших чувствах; их оклеветали, и они кипели жаждой справедливости. Когда все мы пошли на прогулку в парк имени Шевченко, дети были отпущены резвиться, а мне велели стоять около скамейки, на которой сидели воспитательницы. «Так, значит, здесь тебя бьют кубиками по голове?! – язвили они. – Жаловаться она вздумала! Будешь стоять здесь и никуда не пойдёшь!»

Напрасно я объясняла, что не собиралась жаловаться, просила, чтобы меня отпустили к детям поиграть. Серёжка бегал с другими девочками и мальчиками, кажется, пугал кого-то то ли червяком, то ли гусеницей на палочке, не обращая на меня никакого внимания. Я рыдала по утраченному счастью, размазывая слёзы, но воспитательницы были непреклонны, а чувство отчаяния и утраты, переполняясь, раздирало меня – оно явно превосходило моё детское понимание.

Сразу же после прогулки бабушка пришла за мной, чтобы поехать кататься по морю на катере. Я спрятала все всхлипы и слёзы во избежание дальнейших разборок, которые не сулили мне ничего хорошего. Тогда я впервые поняла, что говорить правду нужно не всегда, не всю и не всем. Во время морской прогулки я была слегка заторможена и рассеянна, сильно кружилась голова. Дома вечером поднялась высокая температура, и я надолго слегла. Первые же прописные истины давались мне нелегко.

А после болезни – то ли воспитательницы куда-то делись, то ли страсти улеглись – продолжения бурно начатого конфликта, к счастью, не последовало.

Очень странно, но приблизительно в это время я сформулировала для себя довольно зрелую мысль: «Нужно относиться к людям так, как ты бы хотела, чтобы они относились к тебе». Сейчас, по прошествии лет, удивляюсь тому, что мне удалось найти такие точные слова в столь раннем возрасте – не знаю почему, но помню, что именно они пришли тогда в ответ на все мои пытливые раздумья.

3. Ленивый воздух Одессы

Помню, когда я была уже не очень маленькой девочкой, случился один момент, который пронзил меня насквозь солнечным светом, как стрекозу булавкой, и пригвоздил на веки вечные прямо к Богу в петлицу.

Было лето, я стояла перед зеркалом, которое умещало меня всю целиком. В окно лупило солнце, и, отражаясь в зеркале, заливало мне лицо, волосы, глаза. И вдруг я ***поняла***, что ***родилась и живу.*** Прочувствовала эту ликующую радость всем существом – насквозь, навылет, – что у меня есть ***я***, со смуглой кожей и струящимися золотыми волосами, что во мне пульсируют, затаившись, немереные силы и возможности. А ведь всего этого могло и не быть! И осторожная, как тайный сговор, благодарность потекла золотой нитью к Тому, кто одарил меня всем этим.

Теперь, когда мне бывает больно или пусто, тоскливо или бессмысленно, я заглядываю в это мгновение, как в бездонный колодец, сквозь который видны золотые прииски моей судьбы. И тогда, подобно алчному золотоискателю, я начинаю понимать, как много из обещанного всё ещё не сделано, как много упущено и как много ещё нужно, нужно сделать, во что бы то ни стало.

И больше всего я задолжала этому животрепещущему ощущению бытия, которое обязано оставаться во всём, что я делаю, к чему прикасаюсь.

Конечно же, мне немыслимо повезло родиться в Одессе! В Одессе удивительный воздух, ленивый, чувственный и в то же время пропитанный живительными импульсами, как первобытный, доисторический бульон, в котором зародилась жизнь.

Начиная с весны, затапливающей весь город пьянящим духом акаций, и до поздней осени, устеленной жёлтокрасными листьями, Одесса не устаёт потчевать своих обитателей потоками солнца различного накала, букетами вкусов, цветов, запахов, солёными объятиями моря и ветра, звуками прибоя и шумом Привоза, горячими улыбками и перчёными шутками, рассыпанными нехотя и где попало.

И только унылой слякотной зимой Одесса засыпает, становится серой, отстранённой и безучастной. Она таится где-то в глубине своих снов.

Весна в тот год совпала с первой «взрослой» любовью, с ощущением, что я – девушка, с распирающе-томящей болью растущей груди и поющим, как струна, телом, пружинисто изгибающимся во время ходьбы. А взгляды чутко воспринимались тогда всей кожей и были почти равносильны прикосновениям. Влажный от весенних дождей ветер проглаживал лицо и шею, запускал свои пальцы в гущу волос, от чего они кудрявились пышным ореолом и волнисто развевались сзади, вдогонку моим стремительным шагам.

Ветер в меня влюбился —
Сладкий, щекочущий, пьянкий —
Впивается в ноздри, в губы —
Начало моей изнанки.

Сжимает виски в ладони,
Затылок сжимает в локти,
И тычется лбом холодным
В мой лоб в сигаретной копоти…

Слова брались неизвестно откуда, вертелись назойливо, как насекомые, копошась и мешая жить до тех пор, пока не найдут своего законного места в строке. Я шла к папе любимым маршрутом: Пушкинская – Приморский бульвар – Дюк – Воронцовский дворец – «Тёщин мост» – ещё один бульвар и – папина мастерская. Здесь, среди могучих платанов на Пушкинской вспоминались разговоры таких взрослых курящих поэтов и пантомимистов, испещрённые шутками и намёками, ленивыми движениями и острыми переглядками. И обволакивающее присутствие Его, любимого. Физически ощущаемое его приближение и удаление, обоюдно нацеленное внимание, внезапные разряды касаний или всполохи взглядов.

К нашему двадцатилетнему руководителю студии пантомимы стекались приятели его же возраста, очень зрелые и мыслящие, как казалось тогда мне, четырнадцатилетней. А я (самая маленькая в студии, по прозвищу Малая) почему-то частенько присутствовала на их бурных обсуждениях проблем мирового масштаба, иногда сопровождавшихся стихами, песнями, танцами и сухим вином. И страшно вдруг становилось от крамольной мысли – проговорить им что-нибудь из моих сложившихся где-то в мыслях (и даже со страху не записанных тогда!) строчек:

У меня душа – страстная,
У меня шаги – быстрые,
У меня ладонь – ясная,
У меня глаза – чистые.

Я люблю ходить голая,
У меня спина смуглая,
У меня длинны голени,
В волосах – волна круглая.

Я ведьма, богиня, чертовка, русалка,
И мне ни единой души
Не жалко, не жалко, не жалко, не жалко.
Глаза мои так хороши!

И волосы вьются, как флаги на мачте,
И пальцы тонки у руки.
Любите, желайте, стенайте и плачьте,
Смотрите, как ноги легки!

Как ноги легки, и длинны, и проворны,
Как стройные бёдра круты…
И это из сердца не выдернешь с корнем
Ни ты, и ни ты, и ни ты!

Нет! Нет!!! Как можно – такое? Неприлично, стыдно. И вообще… Ведь они же уже – !!! А я ещё – ???

Впуская в себя влагу весеннего воздуха, как рыба жабрами, лавируя между намеревающимися пристать праздношатающимися парнишами, приближаюсь по Пушкинской к Приморскому бульвару.

– Девушка, можно с Вами познакомиться? – какой-то тип с совершенно неуместным лицом.

– Нет, нельзя! – категорически отрезаю я, не сбавляя скорости полёта.

– Но почему? Вам же, наверное, скучно? Вы одна…

– Мне скучно?! – зверею я от глупости непрошеного ухажёра и включаю турбореактивную скорость, после чего голос приставалы глохнет где-то позади.

И вот, пропитавшись, как ромовая баба, пьяными весенними запахами и солёным морским духом, вздымаюсь к папе, на верхний этаж. На лестничной площадке – рамы и холсты, лицом к стенке, перемазанная красками дверь с умолкнувшим неизвестно когда звонком. Стучу, как умею, – получается хило. Дубашу и так, и сяк. После долгой паузы во глубине – шевеление, дверь открывается: папа с пучком измазанных кистей вытирает руки о тряпицу. Сразу же бьёт в нос такой родной (и такой желанный до сих пор) запах масляных красок.

Папа пропускает меня, говорит, чтобы я занялась чем-нибудь, даёт куски ватмана, коробочку с пастельными мелками. От сочетания красок и брожения вокруг огромного количества цветов разного накала внутри что-то радостно стонет. Картины, законченные и только начатые, недоплетённый гобелен, большущие мотки ниток к нему, набросанные рядом, – таких вибрирующих тонов, что в горле возникает ком от непонятного восторга. Пастельные мелки дразнят многообразием, и каждый хочется схватить первым… Папа жадно впивается кисточками в холст, лихорадочно мучит краски на палитре, иногда с остервенением выдавливает остатки из тюбика и снова набрасывается на холст.

Я, как всегда при виде папы, начисто теряю дар речи. Что бы я ни сказала, – кажется мне, – всё будет абсолютной мурой, и папа с ядовитой иронией прищурит глаз, состроит свою коронную гримасу и отпустит какое-нибудь едкое замечание, от которого хочется стереться с лица земли. Надо сказать, что со мной он как раз обходится довольно бережно и даже ласково… когда замечает меня, конечно. Но я видела, как иногда он отбривает других… и потому молчу, как последняя идиотка. Пробую выразить свой безутешный восторг мелками по ватману.

Папа делает передышку, отходит от холста, вытирает руки. Поглядывает в окно на море, корабли и подъёмные краны. Случайно зацепившись за меня взглядом, он на мгновение замирает, потом прикрывает один глаз, пытаясь меня поточнее сфокусировать и скомпоновать. Я, чувствуя себя дичью в прицеле охотничьего ружья, пытаюсь рыпнуться.

– Стоп! Сиди так… подожди… – и папа, чтобы не спугнуть «дичь», хватает лист бумаги, пришпандоривает его на что-то, берёт пастельные мелки, ищет выгодную точку. – Так, так… чуть-чуть головку правее… нет, много… так, так, да.

И начинает быстро-быстро набрасывать мой портретик.

А я стараюсь не шевелиться, по опыту зная, что любая попытка переменить участь вызовет у папы бурю протеста и озверения. Ничего не остаётся, как думать о влажном весеннем ветре, о море, о платанах и совсем тайком – о колечках дыма от сигареты любимого.

Когда рисунок закончен, с трудом возвращаю телу подвижность, подхожу, смотрю на портрет. А там – надо же! – и весенний ветер, притихший в волосах, и море, и затаившийся, спрятанный где-то далеко-далеко в глазах любимый.

4. Зелёная

Гусеница ползла по ветке куста, молодая и зелёная, как всё вокруг. Ощетинившись во все стороны волосками, особенно яростно и торжествующе увенчивающими полоску на спинке, она старательно подтягивала хвост, выгибая туловище, а потом с гимнастической ловкостью разгибалась, будто пыталась измерить длину своего пути в гусеницах.

Мы сидим на скамейке под кустом. Запах прогретой весенней зелени смешивается с запахом моря. Солнце уставилось на нас, как на школьников, ещё не напроказивших, но явно замышляющих что-то запретное.

Он раскинул руки по спинке скамейки. Так я оказалась уже наполовину приобнятой, по крайней мере смиренно замершей где-то у него под крылом. И каждая мурашка на коже мучительно просит, чтобы эти не состоявшиеся ещё объятия сомкнулись уже на самом деле!

Он повернул голову, испытующе заглянул в меня. Я увидела зелёные глаза с загнутыми золотистыми ресницами, которые смотрели на меня с тою же проницательностью, что и солнце. Стало ясно, что двоечница здесь только я. Конечно, мне же ещё только четырнадцать, а ему уже двадцать! Паника внутри привела меня к полному столбняку… правда какому-то блаженному.

– Мала́я! Знаешь, как называются эти цветы? – он наклонился и сорвал среди подростково-ершистой травы несколько маленьких жёлтых цветочков, отблёскивающих на солнце глянцевой внутренностью лепестков.

– Нет… не знаю, – ответила я, понимая, что проваливаю первый серьёзный экзамен.

– Они называются «гусиные лапки», это мои любимые цветы, – и на секунду веснушки у него на носу наморщились.

– Я тоже люблю всё жёлтое, – пульс во мне начал беспорядочно метаться по всему телу.

– Ну, тогда я тебе их дарю!

В моей голове тут же заскакали неизвестно откуда поступающие справки: дарить жёлтые цветы – к обману, к измене, к разлуке…

– Нет, – пискнула я виновато и беспомощно, – жёлтые цветы дарить нельзя…

– Эти можно! – убеждённо заявил он и сунул мне в ладошку махонький букетик.

Я уставилась в цветочные, наивно растопыренные мордочки, не очень понимая, радоваться мне или печалиться. Застав меня врасплох, он прикоснулся губами к моим губам. В первую секунду я одеревенела от неожиданности. А потом его руки стали обволакивать меня – затылок, спину, плечи, грудь. Вокруг меня свивался теплый кокон, и я понеслась куда-то в глубь жизни, навстречу сладкому, как нектар, вкусу… у-у-у-У-У…

И вдруг я зависла над поляной. Внизу, на лавочке, сидели двое: я, как-то по-школьному сидя, с аккуратно сомкнутыми коленками, зажав в ладошке «гусиные лапки», и он, обвив, как плющ, мои плечи и талию. Волосы разлились с запрокинутой головы золотыми волнами по его рукам. Казалось, двое жадно пьют друг друга и никак не могут напиться… Это длилось вечно.

Гусеница старательно и истово подтянула хвост, выгнулась дугой, потом вытянулась, с наслаждением обхватывая всеми лапками свою ветку и подножие листа. Волоски её при каждом движении топырились, задевая друг друга, и щекотали кожицу… сочный дух листа… Хрясть – и остренькие зубки впиваются в его зелень… о!.. ещё, ещё… кусь… кусь… да, да, да… вот так и должно быть… всег-да… да…

Хоп… и я снова здесь, в своём теле… Ничего не понимаю… Мы как-то с трудом отлепились друг от друга. Плечом я вписалась ему под мышку. Перед глазами – его ухо и слегка небритая щека… он с трудом переводит дыхание:

– Мала́я! Ты меня любишь?

И снова паника. Как?.. Что надо говорить?.. Это можно… говорить «люблю» вот так, прямо сразу?..

– Н-не знаю… – не найдя ничего умнее, ответила я.

– Как «не знаю»? – он резко отстранился и смотрит на меня с явным раскаянием. – Мала́я!.. Запомни: целоваться и отдаваться можно только по любви.

– Да, да. Я люблю тебя… люблю!

И я даже, кажется, вскакиваю… Но, как же теперь всё это звучит глупо и неубедительно! Детский лепет на лужайке… а-а-а… какая же я дура!

Он нехотя, но неотвратимо выпрямляется, приглаживает мои волосы… «Ребёнка по головке погладил», – мелькает у меня…

И, кажется, что-то ещё говорится… как в вакууме… а вскоре он ведёт меня домой и в общем-то ласково прощается у подъезда.

В серой прохладе я поднимаюсь по лестнице, упрямо перешагивая через две ступеньки… Вдруг замечаю зажатые в кулаке цветы. Они уже повисли в полуобморочном состоянии… а я и не заметила, как удушила их. И тут мордочка моя вся скрючивается, а из глаз жгуче и сладко выкатываются слезищи, бороздят щёки, подбородок, валятся прямо на «гусиные лапки».

– Ы-ы-ы-ы!.. Ы-ы-ы-ы-ы… ы-ы-ы-ы!.. Бестолочь!. Ну, почему я такая бестолочь?!!

5. Пробежки сквозь себя

Сейчас я пробегаю иногда из Армянского, где преподаю режиссуру, по Кривоколенному переулку куда-нибудь в редакцию за свеженьким сборником своих пьес и чувствую, что где-то здесь бродит та самая девочка, заряженная, как бомба с часовым механизмом. Она, хрупкенькая такая с виду, тащит в себе весь тот запас зелёных, не созревших ещё даров, проблем и любви, никуда не деваемой, как неразменный пятак величиной с планету, – словом, всего того, что я расхлёбываю вот уже не одно десятилетие.

Она ещё ничего ни о чём не знает: состоится ли, сбудется ли, даже не знает, возьмут ли её в театральный институт. Она только хочет, непомерно много хочет. И мы проскакиваем друг через дружку насквозь: она, уже опалённая, но ещё ничего не ведающая, и я – уже столько пылавшая и столько вкусившая!..

Сейчас тут всё изменилось, и я пытаюсь вспомнить, в какой подъезд она, эта девочка, заходила и как поднималась на верхний этаж, в эту нашпигованную болью коммуналку, чтобы скрывать за милыми улыбками и шутками свои тайно гудящие потоки.

Как странно не понимать, что жить нужно с той, которую любишь. А если у тебя с женой дружба и вы вместе кино делаете, так и нужно вместе кино делать. И нечего её обманывать. Да и за что же так казнить-то меня? Ведь я же живая! Ну, когда же, когда ты поймёшь это? А она… жалко-то как и стыдно… она ко мне так хорошо относится!

– Скажи пожалуйста, Ирка, а как будет по-украински «букашка»?

– Комаха.

– О! Точно. Ты Комаха! Кома.

Когда же это было? А, да, ещё до всего… Комахой я стала в самом начале, в Одессе.

Мне ещё только шестнадцать. Он жутко взрослый, ему уже двадцать пять! Он учит меня читать стихи для поступления в театральный институт. Жена его, режиссёр, тоже иногда помогает меня учить, бывая в Одессе совсем изредка, наездами. Она даже старше его – ей вообще уже, кажется, двадцать восемь! Надо же, какая огромная разница в возрасте!..

Акации в Одессе. Они цветут, и весь город ходит под кайфом, пропитанный этим сладким хмельным духом.

– Комаха, куда ты бежишь? Мы ведь гуляем. Девушке следует ходить не торопясь, степенно.

Вечерний моцион после занятий. Это становится волнующей традицией. Стараюсь идти степенно, наблюдая, как с каждым шагом наступаю на белые цветочки, щедро усыпавшие тротуары. Я слушаюсь: это же мой учитель. И, вообще, его интерес ко мне… уф… нет, не может этого быть! Но, кажется… нет, ерунда, это я чего-то… совсем…

Как-то так вот, незаметно доходим до обрыва, ведущего к морю. Он в шутку гладит меня по голове и вдруг притягивает к себе и целует. Я чувствую себя рыбкой, попавшей на крючок, трепыхаюсь, упираюсь, но сорваться с этого крючка и уплыть на волю мне, видно, уже не удастся. Жар поднимается откуда-то снизу, ноги становятся горячими и ватными. Пульс – везде, голова плывёт. Акация захлёстывает волной. Отстраняюсь, не глядя в глаза, спрашиваю:

– А… а как же жена?!

– Ну… с ней у нас давно уже просто дружба. Мы вместе кино делаем…

Вот это да! А я-то думала: женаты… значит, любят… странно… и зачем же люди живут вместе, если их не тянет друг к другу, а тянет… к другим… Бедняги! Какой ужас! Я бы так не смогла.

И снова поцелуй, и куда-то несёт, закручивает… Нет, нет, нельзя, что я делаю… надо всё это прекра… а мысли плавятся, как сырок, и растворяются в акациевой настойке…

А потом его отъезды, приезды; и эта проклюнувшаяся тайна на двоих то подёргивается плёночкой, то бередится снова… Нет, нет, конечно, ничего между нами быть не может. Это совершенно невозможно. Но как же он смотрит на меня! Аж переворачивается всё внутри… То и дело старается оказаться поближе, прикоснуться. И всё в животе сжимается и горячим облаком расползается по телу.

> Наевшись, гусеница переводит дыхание отяжелевшим брюшком и вслушивается в токи, которые бродят внутри неё. Всё тело наливается, разбухает и начинает распирать изнутри. Кожа становится тесно-панцирной… ворочаться и гнуться становится всё труднее… сбросить… избавиться… как-то освободиться… «ххых» – тяжело как дышится. Нужно заползти вот сюда… нет, вот так, вот тут как-то спокойнее… Из брюшка начала выделяться клейкая жидкость… надо приклеиться к этой… коре… а липкость тянется ниточкой… но держит, вот так, сюда… чтоб не упасть, а теперь извиваться, сгибаться туда-сюда… так… вдруг – хр-р-р… о-ох, да…
>
> Это тесная кожица треснула по всему животу, как ветхая одежонка, и тело с облегчением выкрутилось на свободу. Сброшенная старая шкурка шелухой полетела вниз и, подхваченная ветром, затерялась в траве. Гусеница с облегчением ухватилась всеми лапками за ветку, пошевелила боками, измеряя свою новую массу и объём. Вздохнув всеми дырочками на животе, она поползла к новому листу с его манящей нетронутой плотью.

И был день последнего звонка в школе, на который я не пошла, а пошла с ним на пляж в новеньком, свежесшитом собственноручно купальничке «бикини», и он шептал мне всякие слова, лёжа рядом, и просил спеть, а я, робея и краснея, мурлыкала ему в ухо колыбельную под невнятный ропот прибоя. А потом мы были в мастерской его родителей, и он, сжимая меня, как сокровище, уткнувшись лицом мне в плоскость живота, стонал: «Ох, что же ты со мной делаешь!»

Не знаю, чего не хватило мне тогда, чтобы уйти, – силы воли, совести или ума, и что победило: моя идиотская доверчивость, девчачьи иллюзии, разбуженная природа или самонадеянность, а может быть, всё вместе взятое, – но только не сбежала я тогда, когда ещё можно и нужно было сбежать.

А потом была бесполезная борьба и резкая боль… Я, кажется, кричала и исхлестала его ладонями по лицу, а он всё не отпускал меня… и всё плавно перетекло в неизвестное мне ещё острое наслаждение… оно вытеснило боль, которая осталась далеко позади… а я понеслась куда-то дальше, повинуясь его телу, его движению, его воле…

Я лежала, обвитая им, ошарашенная, на окровавленных простынях, и паника рывками сменялась нежностью, а откуда-то свыше пришла то ли усмешка, то ли поздравление с чем-то совершенно новым.

Он вдруг внимательно вцепился в меня взглядом: «Слушай, а ты никогда раньше… что я говорю, идиот!.. Если бы я сам не сделал это, я бы ни за что не поверил, что это у тебя впервые… Надо же…»

А потом я отстирывала кровавые пятна, а они ни в какую не желали отстирываться. Он лепился и прижимался ко мне и вдруг засмеялся.

– А ведь теперь, если кто узнает, меня могут посадить за совращение несовершеннолетних… тебе же сейчас шестнадцать?

– Мне уже две недели, как семнадцать… и ты… Ты не волнуйся, никто не узнает.

И, конечно же, после школьных выпускных экзаменов – «в Москву, в Москву!». И отчаянный аврал поступления во все театральные и киноинституты, и горючие слёзы после всех провалов, и отчаянные попытки зацепиться в Москве без прописки. Наконец, устройство по жуткому блату грузчицей на базу в подмосковном Реутове, проживание у дальней полуродственницы, любовно называемой «Тёткой». И встречи со своим любимым в коммуналке, в семейном кругу, в присутствии жены и тёщи. Бесперебойная подготовка к следующему штурму театральных вузов и к съёмкам дипломного фильма моих учителей. А потом – урывочные наскоки в мастерскую, лихорадочное раздевание… одевание или судорожные любовные объятья в подъездах.

И снова – такая знакомая дорога в метро… И ощущение, что на прилавке режут и продают моё липкое в крови сердце. И душу мне прищемило дверью… и нужно нести домой, к Тётке, этот распирающий ад, где снова упрятывать всё поглубже в грудную клетку и держать внутри.

И, кажется, стоит отпустить себя, только задрать голову, чтобы тихонечко взвыть, а из груди, прямо из середины, рванёт кверху гигантский столб пламени, вперемешку с вулканической лавой, запёкшимися обломками и грудами пепла. И не будет этому извержению ни конца, ни предела… а значит – только не отпустить… не отпустить себя ни на минуту, ни на секунду, а не то взорвусь, взорвусь, взорвусь…

Нет, нет, ещё немного дотерпеть, и мне исполнится восемнадцать. И, наверное, тогда он сможет наконец сказать всем, что любит меня, только меня… и, как это ни больно, но… не может же она не понимать, что одной дружбы для брака мало!.. А он мой, он весь-весь мой!

Почти через год этого ада ранней весной начались съёмки их дипломного фильма и одновременно – прослушивания в театральные вузы. Где-то удалось пройти на следующие туры, где-то уже успела провалиться, а съёмки неслись к концу. Однажды посреди поля, в каком-то автобусе, во время скоростного перекуса среди дня все стали хвалиться – кто сильнее утомился за съёмочный период. Каждый рассказывал анекдотические ситуации о своей невменяемости, все смеялись, я усиленно жевала, задумавшись. И вдруг в общий гомон вклинился мой «учитель».

– Да что там! А мы… (тут он приобнял жену за плечи) мы уже неделю не живём! – он выразительно засмеялся на нижних регистрах, она утвердительно, сожалеюще шевельнула бровью. И снова общий смех, гомон…

В этот момент я как раз собиралась что-то проглотить. Но как-то это не получилось. Все смеялись, а я пыталась сделать простейшую вещь – всего лишь глотательное движение, но это удалось мне только с седьмой или десятой попытки. Потом смысл сказанного включил во мне какую-то кнопку, и началась странная цепная реакция, которая выдёргивала и подминала под себя каждое прошедшее событие, которое сразу взбухало всё новыми, и новыми, и новыми подробностями, озаряя их светом внезапной ясности…

Ядерный взрыв был абсолютно неизбежен, я быстро молча выскользнула из автобуса и бросилась к какому-то холму, неподалёку от горизонта. У горизонта я оказалась мгновенно, с лёту рухнула на пробивающуюся траву, под прикрытие холма, и тут из меня рванули вопли, стоны и рыдания чудовищной силы. Они выкручивали меня и выворачивали наизнанку, я орала и хрипела, я выла и взывала, я извергала в небо, в землю и вокруг все пласты, все мегатонны боли, которые были спрессованы внутри меня. И это превратилось в опустошительное пожарище, которое испепеляло всё внутри… и в то же время, приносило какую-то стихийную, доисторическую свободу…

Не знаю, сколько это всё продолжалось. Я лежала выпотрошенная до самых глубинных основ. Лицо стягивало от высохших слёз, а волосы и рукава были мокрыми и солёными. Казалось, я никогда не смогу произнести ни слова, они просто иссякли во мне, выжглись…

Почему-то рядом оказался мой «учитель». Он пришел посмотреть – а чего это я? Он, кажется, взаправду так и не понял… Осторожно, с опаской стал меня уговаривать, звать на съёмочную площадку. Смотреть на него я не могла. Я поднялась, осваивая новое ощущение себя, чужая и невесомая, как по воздуху, переместилась гримироваться. Хорошо, что не было времени как следует всё осознать. Видимо, поэтому съёмочный день всё-таки как-то завершился.

А какая я сволочь, до меня, слава Богу, дошло не сразу, а с некоторым замедлением. Вообще, все процессы во мне стали вязнуть. Но смотреть в глаза его жене стало практически невозможно. Ясно было одно: всё! Надо выкорчевать его из себя с корнем, вышибить любой ценой. Говорят, клин клином… Как угодно, при первом же удобном случае!

И случай представился довольно скоро. Был дождь. Я провалилась на экзаменах во ВГИК и спускалась в метро по эскалатору в легкомысленном, но стильном цветастом плащике, сшитом своими руками, и в такой же цветастой кепке. Надо сказать, что моё дизайнерское искусство (в сочетании со мной самой) всегда производило на окружающих сильное впечатление. Вот и сейчас двое молодых людей рванули за мной по эскалатору и начали знакомиться.

– Девушка, девушка, а куда же вы так спешите?

В другое время я молча проскочила бы мимо, но сейчас заставила себя их выслушать. К моему удивлению, выяснилось, что оба они начинающие актёры, только что закончили Щукинское училище и приняты в Пушкинский театр. Меня это не слишком впечатлило: поклонницей Пушкинского театра я никогда не была. Но, узнав, что я пытаюсь поступить в театральный, один из них, белобрысый, заявил, что обязательно отведёт меня к Львовой: она классный педагог по сценической речи! Да, наверное, это было бы неплохо.

Но дело было даже не в этом. Я была уверена, что, изменив своему «учителю», кинувшись к кому угодно другому, я избавлюсь наконец от той муки, которую ношу внутри.

Молодые люди позвали меня в гости, мы что-то пили и о чём-то говорили. Мне было довольно скучно. Оба они выглядели милыми, но достаточно поверхностными. Хорохорились, что-то из себя изображали. Я понимала, что с одним из них я просто обязана сегодня остаться. И мне было совершенно безразлично – с которым. Главное – убить, задушить в себе всё то, что выжигает меня изнутри.

В конце концов, эта нескончаемая прелюдия закончилась, один из приятелей откланялся, а я осталась с белобрысым. Было поздно, и деваться мне уже некуда. Кровать в комнате стояла одна. И было как-то уж очень ни к чему туда – с этим, может и симпатичным, но совершенно чужим парнем. Я даже решила вдруг незаметненько досидеть до утра на кухне… но этот номер мне, конечно, не удался. Да и какой смысл сопротивляться, если я, собственно, затем сюда и пришла?

Ладно, сейчас, ещё немножко – и всё будет хорошо. Это, наверное, как зуб вырвать… Вот увидишь, я разлюблю, разлюблю тебя во что бы то ни стало!

…Как-то оно произошло с этим белобрысым. В это время я чувствовала себя глупо и беспомощно. Когда всё наконец закончилось и он заснул, я продолжала тупо смотреть то в потолок, то на очертания комнаты. Я выкликала в себе чувство освобождения, радости… ну, хотя бы сладости отмщения… ну, хоть бы удовольствиишка какого на грамм… Ни-че-го! Только гадостно как-то, одиноко и абсолютно пусто.

Почему-то с новой ясностью вспомнился мой недавний день рождения… А!.. да, да, да… Вот они, долгожданные восемнадцать лет!

– Комаха! Поздравляю тебя! Теперь тебе восемнадцать! – счастливо улыбается он.

– Я тоже тебя поздравляю! Теперь тебя уже не могут посадить за растление малолетних!.. Я сдержала своё обещание – никто ничего не узнал. Так что теперь ты можешь жить спокойно – ты свободен.

И тут под серым полусонным взглядом светлеющего окна я поняла, что нет для меня на свете ничего желанней и дороже тех самых объятий, от которых я сбежала, и всё, что я пыталась в себе повыкорчевать, сидит себе живёхонькое, несмотря ни на что… только болит, измордованное, ещё нестерпимее…

Сосед мой по койке приткнулся было ко мне, но вмазался носом прямо в один из ручьёв, которые стекали из моих глаз долго и безутешно.

– Ты чего? Что с тобой? – встрепенулся он.

– Ничего, ничего. Это неважно. Я пойду, у меня сегодня съёмка.

– А когда я тебя к Львовой отведу?

– Ну, давай завтра.

На съёмку я принесла такое лицо, что все ахнули.

– Комаха, что с тобой?

– Да как же эти синяки под глазами замазать? Ты чего это?

– Так это же она во ВГИК провалилась! – поспешил разъяснить мой «учитель».

– Это ты так из-за ВГИКа?

– Ага! – обрадовалась я, и слёзы снова стали вываливаться из глаз.

– Да брось ты… – и все принялись меня утешать, и синяки были замазаны, и нужные сцены отсняты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.